Опубликовано на Швейцария: новости на русском языке (https://nashagazeta.ch)

Жорж Нива: Исповедь русофила, от Сталинграда до Ирпени

03.12.2025.



Photo © N. Sikorsky

Начну со слова «Сталинград». В Клермон-Ферране, моем родном городе, мои родители каждый вечер как можно тише слушали Би-Би-Си. И слово «Сталинград» стало повторяться в их разговорах – сначала с тревогой, потом с надеждой, а затем и с радостью. Это было первое связанное с Россией слово, которое я узнал.

Много лет спустя я был в Сталинграде и жил в соседней Сарепте – бывшей немецкой колонии, ныне входящей в состав Волгограда. Я видел Мамаев Курган. Это памятник огромный, пафосный, но впечатляющий. Я долго блуждал по нему и был потрясен приблизительно также, как был потрясён в Яд-Вашеме в Иерусалиме. Но лучший, более правдивый памятник Сталинграду – это памятник литературный, роман Василия Гроссмана «Жизнь и Судьба». Незабываема глава «Дом Шесть дробь один» - гнездо человечности и крепость мужества в сталинградском пекле. Друживший с

Гроссманом Семен Липкин рассказывал, что как-то, когда они гуляли по берегу Волги, Гроссман сказал ему: «Эта война смывает всю сталинскую грязь с лица России. Святая кровь этой войны очистила нас от крови невинно раскулаченных, от крови 37 года». Думаю, многие россияне той поры так думали, верили в новую Россию. Этого не скажешь о сегодняшней войне, которая не смоет грязь и стыд, которые останутся.

Возвращаюсь к 1943–43 годы. Мой отец, еврей по матери, был уже уволен правительством Виши и вместе с моей бабушкой, родившейся в Эльзасе, ждал ареста. О нем идёт речь в фильме Марселя Офюльса «Горе и жалость» («Le Chagrin et la Pitié) 1969 года, причём сам отец участвовать в съемках отказался – из застенчивости. Это легендарный фильм об оккупации Франции, в данном случае города Клермон-Феррана. Я помню страх моей матери 25 ноября 1943 года и то, как я переживал вместе с ней. Была уже ночь, а мой отец не возвращался из университета. Гестапо согнало туда всех, и преподаватели, включая моего отца, ждали своей очереди – кого арестуют, кого отпустят. Арестован был друг моего отца, известный ученый-славист Борис Унбегаун – он был профессором Страсбургского университета, тогда нашедшего убежище в Клермон-Ферране. Отправили его в Бухенвальд, но он выжил, и я был его студентом в Оксфорде. Именно от него я узнал подробности той ночи 25 ноября 1943 года.

© N. Sikorsky

Но до него меня приобщали к русскому языку два беженца. Первый – немец, беженец из Тильзита Георг Буддрус. Это случилось во Франкфурте-на-Майне, мне было 14 лет. Георг, будущий известный лингвист, был старше меня на 6 лет. Он тогда купил только что вышедшее «Избранное» А. Н. Толстого, где был его последний рассказ, «Русский характер». И вот Георг читал мне «Русский характер», и я запомнил заключительные слова: «Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придёт суровая беда, в большом или в малом, и поднимется в нём великая сила – человеческая красота.» Из этого текста я узнал, что русские вообще предпочитают пафос правде. Но я полюбил Алексея Николаевича Толстого за его блестящий стиль. «Детство Никиты» – шедевр. Позже я познакомился с Никитой Алексеевичем в Бретани у Ефима Эткинда, а в Сорбонне я посвятил свою дипломную работу «Хождению по мукам». На его примере я узнал, как могут сосуществовать «гений и пигмей», по выражению Семена Липкина.

Вторым моим учителем был беженец с Кубани, из Новочеркасска, совсем простой человек Георгий Никитин, о котором я написал «Подарок Георгия Георгиевича» (подарок этот – русский язык). Он был из крестьянской семьи, жил по соседству с козаками и оставил мне трогательный рукописный текст страниц на двести, в котором объяснял, какая была счастливая жизнь в его деревне до гражданской войны. И он мне сказал: «Раз ты по-русски еще дитя, возьмём детские рассказы Льва Николаевича Толстого», и мы взяли рассказ «Филиппок». Спасибо ему!

Сыграл роль в моей жизни русиста еще один беженец, из Петербурга – Николай Оцуп, сын фотографа Николая II. Его «Дневник в стихах» читается с интересом и сегодня. Между прочим, он нёс гроб Александра Блока на похоронах поэта в 1921 году. Дневник оригинально сочетает юмор и страх, театральность и искренность, а главная его тема – скитания по Европе и по культурам Европы. Оцуп был учеником Гумилёва, другом Поплавского и Варшавского, автора «Незамеченного поколения».

О моем учителе Пьере Паскале я много писал, назвав его «католическим большевиком». Вот кто по-настоящему был русофилом! В 1911 году он из Франции отправился в Одессу, далее в Киев, в Нежин, но не императорский лицей его увлекал, а христианско-рабочее братство Неплюева. Паскаль был учеником Марка Санье во Франции, сторонником социального христианства. Президент Франции Жорж Клемансо отправил его в Россию в качестве военного атташе, он видел Николая Второго. После свержения старого режима французская военная миссия отправила его в Сибирь следить за Чешским Легионом, но он был возмущён восстанием Легиона в Омске и вернулся в Москву по «взвихрённой России», как пишет Ремизов, с которым он тесно подружился позднее. Но посол и военная миссия Франции вскоре уехали в Архангельск и дальше во Францию. Паскаль ослушался и остался, став большевиком по религиозным соображениям – коммунизм для него был осуществлением христианства первых общин христианских…

Когда партийная комиссия со Стасовой и Бухариным вызвала его, чтобы он объяснил, почему он каждое утро ходит на мессу, Паскаль ответил, что по экономическим вопросам он марксист, а по философским – ученик Фомы Аквинского. Не удивительно, что НЭП его разочаровал, он нашёл скромное убежище в Институте Маркса-Энгельса- Ленина. Там он разбирал архив Бабефа, купленный в Париже Луначарским, и там же он открыл посреди Гималаев арестованных книг «Житие Протопопа Аввакума». И увлекся им навсегда. В конце концов он вернулся во Францию в 1933 году, в последний момент.

© N. Sikorsky

В 1956 году Паскаль благословил меня на поездку в Советский Союз – Москва пахла тогда нерафинированным бензином и удивляла меня многими деталями. Я был студентом Николая Калинниковича Гудзия, академика Украинской Академии Наук. Устроился в общежитии на Ленинских горах. Моим соседом был украинец, физик Саша – моя стипендия была в десять раз больше, чем его. Мы вместе съездили к его родителям в совхоз близ Харькова. Это было моё первое знакомство с Украиной.

В Москве случилось одно из главных событий в моей жизни – знакомство с семьёй Ольги Всеволодовны Ивинской, с ее дочерью Ириной и сыном Митей. И с Борисом Пастернаком, которого там звали «Классик». Классик меня полюбил – я был женихом Ирины. Он даже навещал меня, когда я жил один в Баковке, где снимал комнату у колхозников. Он писал свою пьесу «Слепая красавица», рассказывал о своих встречах, дал мне читать еще не опубликованного «Доктора Живаго». Он, встречаясь с нищими и попрошайками, всегда давал милостыню и долго беседовал. Нам он часто рассказывал об этих встречах и о визитах знаменитых людей, например, со смехом и юмором говорил о баронессе Будберг, бывшей любовнице Горького, и «железной женщине» по Нине Берберовой.

Всё это кончилось для меня высылкой из СССР накануне моего брака с Ириной, уже после подачи заявления в ЗАГС. Шестеро офицеров увезли меня в аэропорт и посадили в поздний самолёт в Хельсинки 6 августа 1960 года.

В следующем году я вновь оказался в Оксфорде, где подружился с Георгием Михайловичем Катковым, внучатым племянником великого Каткова, издателя Достоевского и многих других. Позднее Каткова увидел и полюбил Солженицын и переиздал его книгу «Россия 1917 года» в Библиотеке русской памяти с собственным

предисловием. В Оксфорде я был студентом не только Унбегауна, но и знаменитого сэра Исайи Берлина, который принимал меня у себя, и я пользовался его огромной библиотекой. Когда французский перевод его книги «Russian Thinkers» вышел в Париже, газета Le Monde заказала у меня рецензию. На мой взгляд, Берлин давал не совсем верную картину русской мысли. То есть он с пылом показывал левую картину диптиха – западников, но правая – славянофильская – отсутствовала. При глубоком почтении к Исайе Берлину, я написал тогда, что русская мысль – двуликий Янус, но сэр Исайя отсек один лик. Мой бывший мэтр чуть обиделся и прислал мне длинное интересное письмо – оно в полном собрании его сочинений.

И еще один важный эпизод той поры: Хрущев выпустил тогда двух молодых поэтов-авангардистов, Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского, и они выступали в огромном Альберт-Холле, набитом битком, из шеститысячной аудитории по-русски понимали несколько сотен человек. Но эффект был титаническим! «Я Гойя! Я – горе. Я голос – войны, Я – голод, Я – горло…» в прочтении Вознесенского вызвало бурю криков и рукоплесканий. Это было событие – поэзия открывала границы, поднимала земной шар… С обоими я подружился и общался до конца их жизни.

Долгое время я был невъездным в СССР, но Хрущёв, а потом Брежнев дарили нам такое множество замечательных диссидентов, что можно было думать, что к нам прибыла «Россия присутствующая», а там осталась «Россия отсутствующая» – если прибегать к формуле Владимира Вейдле. Это были Виктор Некрасов, Владимир Максимов, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Эрнст Неизвестный, Андрей Амальрик и многие другие. Андрей Амальрик погиб 45 лет тому назад – он ехал в Мадрид протестовать на конференции по третьему пакету Хельсинских соглашений.


© N. Sikorsky

Не могу не упомянуть Владимира Слепяна, математика, художника и поэта, моего близкого друга. Я помогал ему в некоторых его «акциях», когда он на улице в Париже при публике расписывал сто метров рулона бумаги какой-то метлой, а я стоял рядом с бочкой чернил. Слепян автор рассказа «Сукин сын» – монолога пса, умирающего у входа в парижское кафе «Flore»: «Кричите все вместе, повторяйте за мной!! СПАСИТЕ!» И сам умер как пёс на улице Парижа.

Моя дружба с четой Синявских была парадоксальной и тесной. Андрей Донатович и Мария Васильевна хотели вылечить меня от Солженицына. «Мы Вас вылечим, Ниватик». Я переводил «Вместе с Гоголем» Андрея и сам пробовал вылечить его от зависти к Солженицыну. Не удалось вылечить ни мне его, ни им меня. Но от этого дружба не страдала – наоборот…

Пора сказать пару слов о Женеве. После моего избрания профессором Женевского университета меня очень дружелюбно встретили три писателя. Первый – Вадим Леонидович Андреев, сын Леонида Андреева. Его отец написал знаменитый «S.O.S.», пронзительный крик о спасении России от большевизма. Но Вадим Леонидович был «возвращенец» в том смысле, что он взял советский паспорт, хоть и не вернулся на родину. Этот невернувшийся возвращенец чего-то боялся, но ему было приятно, что в Советском Союзе его книги издаются. Его жена, Ольга Чернова, была дочерью Виктора Чернова, основателя партии эсеров и председателя Учредительного собрания в те два дня, что оно заседало в январе 1918 года. В одной из поездок в СССР они нелегально вывезли одну копию романа Солженицына «В круге первом», а

их сын Саша позже провёз «Архипелаг Гулаг». Но, увы, их дочь Ольга повела себя очень некорректно в отношениях с Александром Исаевичем, начала судебный иск против него и после длинных перипетий проиграла. Она занимает немало места в «Угодило зёрнышко промеж жерновов». Первый жёрнов – коммунизм, второй – жадный и запад. Ольга Карлайл-Андреева – один из представителей второго.

Второй встретивший меня в Женеве писатель – Марк Слоним, масон и самый молодой депутат того самого Учредительного собрания, что возглавлял отчим Ольги Черновой. Третьим был Сергей Варшавский, автор «Незамеченного поколения», друг Поплавского и Оцупа, участник сопротивления во Франции, как и Вадим Андреев.

С помощью этих троих ангелов-хранителей я сразу же стал возглавлять учреждённый за три года до моего появления в Женеве Русский кружок. Приглашал писателей-эмигрантов, а при перестройке стал приглашать и писателей из Советского Союза. Приезд Владимира Солоухина оставил след, потому что его наказали, когда он вернулся – забрали загранпаспорт. Солоухин – хороший представитель тогдашнего нового «почвенничества», как говорили братья Достоевские, то есть «деревенщиков», как стали говорить уже в его время. Принадлежали к деревенщикам Абрамов, чей роман «Братья и сестры» гениально инсценировал в Ленинграде Лев Додин, Валентин Распутин, тонкий писатель, хотя его последний роман «Пожар» чуть-чуть страдает от душка расизма против кавказцев. Был у нас в гостях и Астафьев, автор грандиозного романа «Царь-рыба» и «Печального детектива». Я был у него в Красноярске, и он меня взял с собой в свою Овсянку – была зима, Енисей замёрз, и не было у него на даче другого «топлива», кроме национального напитка.

Дальше – крушение коммунизма. В России новая эпоха, когда можно, следуя совету Гоголя, «проездиться по России». И мы с моей женой Люсиль проездились вдоволь. Гоголь считал, что, путешествуя по России, можно устранить много ссор и споров, а «все теперь перессорилось». Слова Гоголя в то время, время Ельцина, казались очень меткими. Свобода ездить по российским просторам стала для меня и для Люсиль невероятным счастьем. В Красноярске побывали у Астафьева, в Иркутске – у Распутина. А еще в Хабаровске, во Владивостоке, в Архангельске, в Чите, в Благовещенске, в республике Тува. Побывали на Псковщине у Якова Гордина. И еще на Соловках зимой и осенью, в Медвежьегорске и Сандармохе. В Сандармохе мы с женой оказались одни – это место захоронения сотен тысяч зеков, которых заставили пешком пройти 250 км от побережья Белого моря. Уже тогда сидел в тюрьме Юрий Дмитриев, который нашёл массовые спрятанные могилы. Лес казался собранием похоронных столбов-памятников. Увы, сегодня Дмитриев все еще сидит!

А дружба с Сергеем Юрским, другом Шимона Маркиша! В фильме «Чернов» он назвал маленький вокзал кольцевого железного пути Москвы «Эзри», и это шуточно и мистически связывает мою савойскую деревушку с Москвой фантастической, Москвой Воланда.

… И вдруг – Специальная Военная Операция, СВО, то есть вторжение в Украину. Массовые убийства и изнасилования в Буче и Ирпени. В Ирпени, где Борис Пастернак в 1931 году проводил летние каникулы и написал гимн счастью. «Ирпень – это память о людях и лете, о воле, о бегстве из-под кабалы». Ирпень, Буча, Мариуполь – уничтожены. Их население было методически убито, дети увезены и превращены в солдат для фронта. Что случилось с Россией? Конечно, даже в самые кошмарные периоды были герои-диссиденты. И есть диссиденты сегодня, но они – за границей,

бежали из России. Внутри России кричать «Не могу молчать», как Лев Николаевич Толстой в 1908-м, невозможно, кричит единицы. Их сажают немедленно.

Что касается меня, я стал серьёзно учить украинский язык лет шесть тому назад. Помогли ежегодные Успенские чтения в Киеве, учреждённые Константином Сиговым, и дружба с историками и философами – Мирославом Поповичем, Вадимом Скуратовским, Виктором Малаховым.

Я увлёкся вторым национальным поэтом Украины Василем Стусом, первым был Тарас Шевченко. Стус был молодым поэтом из Донбасса, авангардистом, приверженцем традиции «расстрелянного Ренессанса» 1920-х годов. Часть из них были расстреляны именно в Сандармохе, некоторые совершили самоубийство, горстка покорилась, эти стали корифеями Сталина. Стус родился в 1938 году и умер в результате голодовки в лагере в 1985-м. Именно на Колыме он понял, что «жизнь есть миг исчезающий». Пребывание в аду колымском превратило его в европейского поэта. Как Байрон, Лермонтов, Целан и Мандельштам, он принадлежим к «обожжённым» поэтам. Работа над переводами Стуса помогла мне пережить сегодняшнюю катастрофу, давая мне возможность помочь Украине по мере моих сил. И ему спасибо!

[украинская поэзия]

Source URL:
https://rusaccent.ch/blogpost/zhorzh-niva-ispoved-rusofila-ot-stalingrada-do-irpeni